

Виктор Брусницин
(Екатеринбург)

КИСЕТ

одна из легенд нашей семьи

Темны уральские зимние ночи, студены, безнадежны. Вынырнет хилый месяц из мерзкой трясины неба, и тут же замарывают лохмы бесноватых облаков. Недужная поземка воет, скрипят строения, хлопают ворота и ставни, стонут крыши. Даже собаки не брешут. Мрак, муторно.

Мужиков в деревне осталось мало, растрепала по свету революция. Нынче хлеще — гражданская сеча. Было сунула круговерть недоуменному и перепуганному народу подачку, посадила в деревне Советскую власть. Свои шальные, будто из другой страны вернувшиеся, да иногородние, тугие, с рельефными скулами и пламенем в глазах, потешили жадные бабьи взгляды, злость и любопытство стариков и детей. Да недолго. Схлынули мужики, как тараканы от света, в преддверии колчаковского наступления. А кто не успел уйти, того помирили белые.

Видела Аннушка трупы нерасторопных. Неделю назад сподобила Дашутка, любопытная, отчаянная подружка. Силком притащила к избе Михаила Торощина, где произведена была экзекуция. Долго бежали от крайнего в Верхней улице дома. Издалека картина заурядная: и косоватые двери по обыкновению приоткрыты, у Михаила всегда так, и изгородь ущербная. В заулке, однако, стоят две бабы да дите малое, заморожено уставясь на ворота ограды. Первой сунулась во двор Дашутка, следом Анна, окутавшись тревогой, и враз ударило в глаза раскоряченное, опрокинутое навзничь тело сына Михаила, Ивана, ровни Аннушки, свесившееся с крыльца, плечом и нелепо вывернутой головой упершееся в свежий, слепящий снег. А когда схлынула первая оторопь и прянули в сознание зловещая улыбка, глаза, широко выпученные, полные то ли удивления, то ли обиды, черное рваное пятно крови на снегу и сидящий рядом на завалинке воин с отстегнутой портупеей, бесконечно увлеченный, рвущий из носа волосы, затакало в виски тупыми ударами.

Вспоминает Аннушка порой. Царапала она тупо и больно остолбеневшую Дашу, и выпали у той испуганные слова: «Ой, мамонька!» — повернулся на голос дядя, и, не прерывая занятия и равнодушно омахнув девушек взглядом, кивнул лениво в сторону леса:

— Туды иных добивать повели. Поспешайтя, коли весело.

Рванулась Даша, волокла обессиленную подругу, а та молвила: «Нет, домой я... дурно». Двоих, что увели в лес, потом сказывали, свои же, которые ярые да безбожные, и завершили — солдаты отдых заработали.

Хозяевали колчаковцы недолго, дело справили и дальше подались. Основные силы стороной прошли, от баталий и озорства Логиново Господь миловал. Достаточно тогда было говорено, и многого Анна не понимала. Но уяснила, революция обездолила людей: мужиков - жизнями, стариков - покоем,

всех - хлебом, а баб - счастьем. У самой девицы отнимала напасть молодость, пору, что живет сердцем и грезами.

Ох и тоскливо Аннушке-сиротинке. И работа сделана, и спать страшно, стыдно, не имея защиты от дерзких, одолевающих снов. «Мамочка милая», — жалеет тяжким вздохом почивших уже как лет десять родителей.

Прошерстила чума народ, предварив великие события, — всеядная произошла напасть: обездолила невинных. Бедствует теперь девушка с теткой, сварливой, старой пьянчужкой. Тетка хмельна — дурна, трезва — весь белый свет ненавидит. Живы только с мирских щедрот да приработков на справных хозяев. А теперь и с этим изъян. Вот и нынче свашит старая по деревне в поисках подачки. Рождество Христово, можно поживиться.

Люто Аннушке, непереносимо. Ветер стонет, просит чего-то жалобно — да подь ты, своих бед не оберешься. Глядит уныло на вздрагивающий лепесток свечи, подперши руками тяжелую голову. И, отдавшись горькой истоме, раскрывается девица затее погадать — бесплодно заведомо — уж и неизвестно на какую прелесть.

Гаданий довольно, вестимо. Карты, кофейная гуща, воск в воду. Валенки за ограду. Есть основательней: ставят в угол зеркало, перед ним свечу. Из угла протягивают вдоль стен две нитки — клином. Садись перед зеркалом и гляди упорно — явится в мареве свечи образ... Вот и Анна этак же взялась — чтоб пробрало — но одумалась: «Не приведи Господь, принесет тетку, хмельную посудину, — все дело попортит». Накинула, стало, шушун и шасть в баню, что на задах огорода притулилась.

Справляет дело робко и трепетно. Нитка натянута, свеча затеплена, зеркальце пристроено. А вьюга не отпускает, прибежала сейчас к баньке, ползает, ноя, по ветхому строению. Вглядывается Анна и видит себя — чужую, с трепетным языком пламени в зрачках, точно у котов, тенистым испуганным лицом, омерзительными клочковатыми волосами. Наворачивается отчаяние, безмерное, ядреное, настигает ненависть к этому человеку, жизни и особенно вьюге. Вспыхивает желание встать, выйти, кричать, ворваться в пургу и лупить ее с несравненной злобой и уничтожить. И, будто в чрезмерном наваждении, открывается вдруг дверь, и впрыскивается с лихим свистом вихрь снега, разметав причудливые тени. Пропадает внезапно и в равномерном мерцании возникает заснеженная фигура человека.

Ударило Аннушку видение и смело великолепным махом недавнее, оставив звонкую, колючую пустоту. Единственно глаза, бесстрастные, словно чужие, следили, как запорошенный молодой мужик в казачьей амуниции, с богатыми усами и чубом, хлещет себя по груди и плечам, взрывая хлопья снега, смотрит с веселым любопытством на Аннушку и артикулирует губами — с изумлением рассматривает девушку, подходит и вглядывается, наклонив лицо, отступает и опять молча говорит. Хохоча, надо думать, откидывает голову.

Дальше пошло совершенное диво. Мужик сел, приказав такое же Анне, и та наказ выполнила. Человек долго, основательно доставал кисет. Курил — дым

затейливо струился, размножался, околевал. Задавал девице простые вопросы и, по всей вероятности, она отвечала. Затем совершился провал, память исчезла.

Как оказалась дома, Аннушка не чуяла. Кажется, ее сильно трясло в холодной постели, и мнилось, что печь наезжает, либо отодвигается вбок. Вероятно, когда послышался досадливый стук в ставни и ввалилась пьяная тетка, материлась знакомо и, пожалуй, угодно, возвратилась окончательно. Впрочем, упала теперь в тяжелом бесчувствии на лежанку и провалилась в черную бездну.

В эту ночь ей ничего не снилось. Утром, вспомнив нелепое виденье, улыбнулась. Утреннюю работу справила безмятежно. К полудню рассудила, что надо бы свечку из бани убрать — не дай Бог тетка увидит: той дай причину. Прибиралась бездумно, привычно. И, уж закончив урок и делая инспектирующий обзор, увидела на скамье, за шайкой аккуратно завязанный, ровный кисет. Закружилось в голове, выскочила Анна, непонимающая и раздавленная.

К вечеру пришла в себя и, с липким страхом войдя в баню, осторожно тронула вещь. После тяжелых раздумий спрятала в повети в укромный угол, дав заклятие ни с кем не делиться пережитым. Так и поступила. Только закончились сниться сны. Напрочь.

Через год жизнь образумилась. Покончив с Колчаком, установили Советы власть прочную. Мужики, потешив буйство, стали возвращаться к трудам праведным. Не откладывая надолго, засуетились играть свадьбы.

Организовали молодые, что там-сям побывали и некоторое видели, комсомольскую ячейку. Аннушку, сирую и удобственную, всунули в вакансию - писарь-секретарь, благо горазда оказалась.

Однажды, когда Степка Разуваев, секретарь ячейки, опаздывал на очередное собрание и комсомольцы, как и иные любопытствующие, галдели, устрняя деревенские и мировые события, Аннушка внезапно встала и, тенькнув чашкой о стекло окна, аналогично поступкам Разуваева, рассудила:

— Внимание, товарищи!..

Все с удивленным проникновением стихли.

— Нонче это... Степка опаздывает. Я покамест... это... некоторые вопросы обобщу. — Аннушка порозовела, но быстро взяла себя в руки. — Политический момент, товарищи, сложился ноня так, что требует от всех людей, которы за Советску власть, особливо от нас — парней да девок, молодежи, словом — ну эта... ответствения...

В избе звенела гулкая тишина.

— Гидра контрреволюсыи... в общем, давя в Бруснях враги посожгли семенной хлеб. Бают, Мельникова, анафемы, дело. Преседатель наш придумал из сознательных бедняков и сочувствующих сделать патрульные команды. По два мужика на ночь. Будут давать винтовки и патроны. Нам, товарищи комсомольская молодежь, мимо этого почина проходить никак нельзя! Предлагаю с энтузиазмом поддержать — товарищ Стенин, Федор Иванович, просил наш актив пособить... Кто за, товарищи? — И торкнула нерешительно ручонку вверх.

Дружно взметнулись молодые мозолистые руки. Вихрь жгучего восторга вспыхнул в теле гражданки и продолжился сладкими словами:

— Еще, товарищи, по всей стране идет решительная волна борьбы с поголовной неграмотностью. Мы не можем, глядя на это дело, решительно лузгать семечки в обочине! Чо жо, эко место, творится, ежели буквы различить не способны, о каком светлом будущем речь? Пусть старики и несознательные, што ись, пребывают в сумерках, но нам, молодежи, недопустим никакой самотек. Советской власти невежественные разгильдяи не нужны!.. В таком разе предлагаю...

И, забыв о субординации, выпалила Аннушка всю повестку дня, а войдя в раж, добавила еще и от себя призыв сомневающимся войти в ряды комсомола: «Язва нерешительности не должна съись революсионное сознание». Отмечено было ораторство бурными аплодисментами.

Оказалось, что Разуваев давно пришел, нарочно и едва ли не ревниво созерцает. Долго еще не расходились, а вечером провожал ее Степан и докладывал про виденную в Казани оперетку, о звездах и революционной любви. Ночью Аннушке не спалось и было восторженно, но думалось не о Степкиных откровениях, а о своем выступлении — вспоминались слова осязаемо, нутряно.

С того дня пошло, что обращались к Аннушке комсомольцы и остальная молодежь как к следующему после Разуваева чину. Весной — и отнюдь не врасплох — пришли сваты. Тетка от подобного приключения было возликовала, но вскоре сникла. Ответ обещали дать на днях. Вечером Анна кликнула Степу из сельсовета, стояла долго у прясла, отвернувшись от секретаря, и молчала, а потом поглядела в упор и вытолкнула с болью:

— Не могу я, Степа... — Еще нечто просилось вымолвиться, но повернулась и убежала.

Жизнь успешно направлялась. Народ уральский никакими особыми привилегиями в прежнем быту не пользовался, и оттого Советская власть довольно скоро ему глянулась. При таких построениях молодежь с удовольствием поддерживала идеи, и получилось, что усматривает себя Аннушка в данности, точно дед на печи. Быстро овладела тогдашним словарем и даже председателя приводила витийством в восторг. Оказалась, проще сказать, в деревенской жизни на передовой позиции.

Не сказать, чтоб Анна случилась красивой, а к примеру, опрятна — славненькая. Смотришь долго, вроде и не любишься, а глаз не устает. Словом, присылали сватов еще два раза. И этим девушка отказала. На свой счет Степа вроде не обиделся, а после иных противоречий товарищу попенял:

— И какого ты королевича ждешь.

Больше ее деликатным делом не беспокоили. Отсюда в передовиках существовать было способно, как персонаж и поступала.

Году в двадцать пятом произошел в Нижней улице пожар, ночью — вымахнул несколько домов, некоторых жителей унес. В том числе и дальних Анниных родственников, оставив чудом пятилетнего мальчишку Ваську. Переехал, понятно, Вася жить к Ваулиным. Вскоре начал называть Анну мамкой. Он-то и обнаружил секрет.

Случилось это осенью, когда сено на зиму заготавливали. Аннушка метала сено наверх в поветь, Васька укладывал. Парнишка он был неугомонный и хлестался по пятам беспрестанно. В некоторый момент с глаз исчез надолго, на зов Анны не откликнулся. Появился загадочный и молчаливый. Этот эпизод Аннушке зачем-то мешал, беспокоил. И уж ночью она вспомнила о кисете. Полезла на другой день сама, пустилась шарить. Вещьдок не нашла, ибо местоположение тайника запамятовала, да и догадалась, что сынок вещь переместил. Слезла пытаться парнишку. Сделала это крайне неудачно, напористо: признание-то добыла, но с оглаской, тетка угадала в свидетели. И не ко времени.

Последний период частенько ругались. Не позволяла Анне сознательность мириться с безобразным теткинским поведением. А та, первостатейная отщепенка, творила выходки не просто нелепые, но и надругательные относительно власти. Раз в ответ на попреки тетка ополоумела, подбежала к стене избы, сорвала с верстака шлею и, вздрогнув и матерно вскрикнув, вытянула Анну по спине. Та всплеснулась, спину вогнула и, повернувшись, хрипло посетовала:

— Ты это окороти. Я ведь не взгляну на старость. — Да и пихнула родственницу. Чувствительно получилось, хромала долгонько баба.

Тетка позже подкусывала:

— Откель кисет-от? Буди мужиков не бывало в избе.

— Не твоего ума дело, — нелюбезно вразумила Аннушка.

И пополз по деревне слух, что побывал в доме Ваулиных лихой мужичок. И будто оприходовал он Анну, а взамен удовольствия предмет оставил. «Оттого и вертаются женихи, не солоно евши — прячет Анька сором».

В двадцать восьмом году попросилась в Логиново группа людей на жительство. Сельчане не возражали, и через год возникли как раз в месте сгоревших домов в Нижней улице несколько новых дворов... Жизнь в деревне в то время была расхорошая. Урожай валил за урожаем, народ от сытости ударился в образование. Сватовские дела, проскочив мимо Анны, от многих забот ее избавили, и оттого крутилась она целыми днями в правлении и на жизнь не жаловалась. Приспела там волна с пережитками, одним из коих преминуло случиться верованию в Бога. К атеизму Анна не то чтобы дуже пристрастна была, а пуще из лояльности к власти склонялась. Политика же партии по этому вопросу была категорическая.

Блестела в деревне куполами, белела и радовала глаз аккуратная, солидная церковь. Приход включал пять деревень, в церковные праздники стояло столпотворение на радость малым и взрослым. Ретивые головы в городе постановили церковь сокрушить. Много случилось пересудов, склок, всякой

дряни. Председатель был противником крутых мер, ездил в район, в город, однако возвращался неизменно угрюмый.

Вскоре на подводе нагрязнул лихой молодой парень, потряс мандатом и велел соорудить из деревенских мужиков строительный (разрушительный, иначе сказать) отряд. Единственно, чем Федор Иванович себя потешил, это предоставил такую любезность самому обладателю мандата. Из коренных мужиков «строителей» не нашлось, и тогда — по чьему-то наущению — обратился парень к пришлым, отстроившим Нижнюю улицу. Те согласились. И только один из иногородних отказался. Был это сочный мужчина лет тридцати пяти Федос Лахин.

Разрушение едва маленькой революцией не кончилось. Понаплыл от мала до велика к известному сроку люд из пяти деревень, весь приход, словом. Бабы в основном, народ горловой и непредсказуемый. Площадь перед церковью плотно была заполнена цветастой толпой, которая гудела жутковато и опасно колыхалась. Когда припил на подводе смелый паренек с понурыми, плетущимися позади командира строителями, толпа обозначилась оскорблениями и угрозами. Отчаянный представитель на подобный пейзаж выхватил наган и, подняв вверх, конусообразно махал, сообщая тоскливым криком, что допустимо огнестрельное применение. В ответ на речи бабы смело глядели молодому в очи и вытягивали ситцы на грудях. Из нутра толпы пошли различаться визгливые предложения:

— Бей антихристов!

Мужики, изредка, небольшими кучками разбавлявшие толпу, смотрели на горожанина хмуро и несочувственно. Дело было не ахти. Парень, сорвав голос, сдался и сел в телегу, охватив щеки ладонями и обескуражено покачивая головой. Строители зевали, высматривали в толпе молодых баб, либо глядели в небо.

Тогда и появился Федор Иванович с сельсоветчиками. Он, глядя под ноги, молча и сосредоточенно попер на толпу, та, умерившись, расступилась. Аннушка пришла с ним, однако, не дойдя до церкви, юркнула в народ и затерялась. Не мешкая, в образовавшийся проход тронул коня и атеист. Его не приспособили, а строителей, потянувшихся за телегой, пощипали.

Со служителями власти загодя имели разговор, ризницу давно освободили, и все церковные причиндалы вывезли предварительно. Часть рабочих отправилась на колокольню, часть разбирала крышу. Народ не расходился. Все смотрели в проемы башни, то и дело катился шумок, что, как снимут колокол, гром грянет — настигнет богоизбежников кара.

Наконец железку освободили. Отогнав от стен народ и по деревянному настилу поперли штуку к амбразуре. Когда в проеме окна, мерцая мельхиором, образовался узор колокола, люди надсадно охнули. Вскоре предмет ринулся вниз и раскололся, глухо, неприлично звякнув. Молчали, всколыхнулись рьяные и опали. Вслед акции толпа основательно поредела.

Еще через пару часов кончили разбирать крышу. Потом рабочие оттащивали сброшенные листы в сторону, а уполномоченный начал налаживать

снятую с подводы взрывчатку. Федор Иванович, выйдя на паперть, закричал сердито:

— Отходи на сто сажен!

Кто помоложе, схлынул безропотно. Остались старушки и ярые богомолки, отчаянно задрав лица к высям и истово крестя лбы. Юркали ребяташки. Федор Иванович подошел к одной суровой и что-то хмуро сказал на ухо. Та отняла руку ото лба и потекла от церкви с каменным лицом. Следом подались остальные... Скоро все было готово. Народ присмирел и ждал молча. Последним из церкви выбежал парень-начальник и, не достигнув толпы, остановился, развернулся и смотрел на церковь, круто работая грудью. Наступила большая тишина.

Ахнуло. Из пода церкви вырвались могучие клубы пыли и, до половины высоты здания взмыв вверх, распластались в стороны, приникая к земле. Верхушка, постояв немного, тяжело села и рассыпалась в мешанину дыма, исковерканных глыб. Аннушка, с тревогой ожидавшая конца дела, обессилено подумала: «Ну, вот...» Тут же услышала рядом тихое: «Эх...» — и увидела, что стоящий рядом Федос Лахин отворачивается и, ссутулившись, тихо уплывает между испуганными односельчанами.

В двадцать девятом началась коллективизация, и, конечно, Анна приняла в ней деятельное участие. В уральских краях процесс был сравнительно безболезненным и завершился скоро и плодотворно. Поначалу определили Анну звеньевой, а через год выпала необходимость выделить пять человек для отдельной бригады, потому как пришла на село механизация. Задумала Анна проситься в район на курсы и, естественно, просьбу ее уважили (Васька к тому времени был вполне самостоятельный мужичок). Попал на курсы и Федос Лахин как смекалистый и грамотный мужик. Случалось, что шли они вместе с курсов до общежития и не торопились. Обхождения Федос был не дерзкого, и чувствовала себя с ним Анна легко.

Однажды, прошла уж половина отведенного срока учебы, в такой вот замечательный час затеяла Анна допрос:

— Сказывают, Федос, ты в белых служил. Как это? Не угадаешь.

— Довелось... — исповедовался Федос. — Я ведь с Кубани, у нас за землю горло выедят. У меня и двое братьев воевали. В девятнадцатом кончились оба, старший под Царицыном, другой в госпитале помер от ран... В двадцатом убег, подался домой. Дома-то жена с дитем. От белых и от красных хоронился. Когда укрепились Советская власть, арестовали и к вам на Урал выслали, в Ивдельские закутья. Пять лет как в белый свет канули... Приехал домой, в хате чужие люди. Родителей раскулачили и на север увели. Там и преставились. Жена с дитем вслед за имя подалась, да сгинула неизвестно где... Куда потом меня судьба только не валанда, пока не приткнулся к Егору Проскурину. Однополчанин бывший мой. Тоже в лагерях отбывал. Вот и притерся к ним, так подле и живу.

Долго гуляли они, нося в глазах трепетный отблеск нежного летнего заката, и говорили о шестеренках и политике, о судьбе и надежде. А когда подошли к

избе, где жила Анна (Федос квартировал рядом), взял он ее руку и блеснул глазами странно и боязливо, и двигался по горлу кадык, и вздрагивали уголки губ, и длилось важное, спасительное молчание. Стояла Аннушка, понутив голову, руки не отнимая, и слушала гулкое, удивленное сердце. И точно лавина, нагрянули исполинские, не сразу понятые слова Федоса:

— А ведь это я, Анночка, в баньке кисет тогда оставил.

Всю ночь металась Анна в постели, оглушенная этой мятежной, выхолостившей фразой. Мучилась, рвала подушку зубами, едва ли не с ненавистью вспоминая ту далекую, странно воздействующую на ее жизнь ночь, и только под утро уснула, не ведая, как будет смотреть завтра на Федоса. И снился девический, жаркий сон.

Встала Анна с единственной заботой отдалить момент встречи с Федосом. А когда увидела у общежития поникшую, жалую его фигуру, жадный, страхом насыщенный, устремленный на нее взгляд, неистраченная за все эти годы нежность навалилась разом и толкнула к нему, обдав Федоса светлой, все говорящей улыбкой.

Через год родилась девочка. Что Федос, что Анна совершенно от счастья одурели и вели себя, ровно дети малые. Жену Федос величал непременно Анночка и норовил ей что-нибудь подать, либо самую потрогать. Та все смотрела на мужа и никак не могла утолиться его ладной фигурой... Крепко сдружился Федос с Васькой. Даже тетка перестала скрипеть и несколько помолодела.

— Анночка, — говорил Федос, — глотни молочка парёного. Шибко полезительная для грудей жидкость.

— Да я, Федюшка, глотну попозже. Ты на лавку криночку поставь, — отвечала Аннушка.

В деревне судачили о них непременно с улыбкой.

Анна враз одомашнела и до колхозных дел стала ленивой. В поле тоже не сильно старалась, Федос не позволял. Однако сам работал зверски, за зиму обустроил дом и двор. В двухлетнем возрасте дочка погибла от проведенного недавно электричества. О времени том лучше не вспоминать.

Прошло пять лет, жизнь опять выехала на ровную дорогу. Горе поблекло.

Бригада механизаторская разрослась, командовала Анна, Федос непременно ходил в передовиках. Васька замахнулся на город и учился в ФЗУ. Тетка умерла, стало быть, Аннушка снова сунулась в правление. Федос ударился в чтение книг и, кажется, намерился изобретать стишки. Словом, постно не доводилось. И тут за производственные и общественные достижения выдали им путевки на курорт. Простите, аж на самоё Черное море!

В районе случились они первыми курортниками, и событие стало общедеревенским. За полмесяца до отъезда изба превратилась в штаб-квартиру, где разрабатывались распорядок дня, вообще, планы предъявления и соблюдения

относительной благонадежности. Провожали торжественно, Федор Иванович выделил машину до Свердловска и с пасмурным глазом пожал руки.

Ялтинские курорты Анну совершенно потрясли как природой, так и роскошью. Федос, в жизни кое-что повидавший, был к оказии относительно терпим, но душевно за Анну торжествовал, впрочем, с периодическим изумлением. Мадам в кои веки начала переживать за наряды и прочую внешность, вздумала говорить томным голосом и во время вечернего променада, взяв под руку Федоса, пустилась как-то странно переступать ногами и повиливать фигурой. А дней через пять, пообщавшись с некоторыми, намазала губы.

Быстро сошлись Лахины с соседями по столику, парой из Ленинграда, несколько претенциозными, но, в сущности, милыми людьми. Григорий Остапович служил инженером и полюбил наставлять Федоса на умственный лад. Как выяснилось, наш провинциал немало поднаторел, и завязывались порой душеугодные споры. Клавдия Павловна толкнулась учить Аннушку жить.

На прогулках Григорий Остапович заводил:

— Вселенная, дорогой Федор Василич, я полагаю, тонкая штука. Трудно представить, что не найдется кроме нас разумной цивилизации. Однако в обозримой отдаленности ее нет. И, думается, дружище, это неспроста. Я подозреваю, что скорость эволюции природой predetermined адекватной скорости проникновения во Вселенную... Вообразите, приезжаем на другую обитаемую планету. Мы или они пользуемся достижениями оной, и что же? Применить-то не можем! Нравственное сознание несовершенно. Хаос!.. Я, батенька, углядываю здесь некий силлогизм. Физические открытия зависят от нравственного достижения, и несовершенство каким-то образом тормозит их. А вершина нравственности будет соответствовать высшим скоростям, где станет возможно, если позволите, межцивилизационное общение.

— Имею возразить, — откликнулся Федос. — Ежели Вселенная предполагается бесконечной, то и скорости проникновения в нее не ставится предел. А какая же бесконечность у нравственности? Будь честен, добр и так далее. Больше нечего придумать. Обрывается взаимосвязь. — И начинался спор.

Клавдия Павловна говорила:

— Ах, милочка. В наши дни оставаться элегантно — жуткая проблема. Посудите сами. Мода — четыре сантиметра выше колена. В нашей библиотеке — девять стеллажей. Уже выше седьмого приходится пользоваться стремянкой. А у нас в штате мужчины. Просто кошмар!

Аннушка отвечала:

— Даве дамочка из третьего корпуса в платье пришла. Такое крепдешиновое, с розами. Видали? Разрез-от у нее — срам смотреть. Аж до самого этого места! — Начиналось обсуждение.

За неделю до отъезда Григорий Остапович объявил поход в ресторан. Два дня Клавдия Павловна школила Аннушку. Наконец случилось. Когда официант, подав карточку и глядя на Анну, спросил: «Не угодно ли цветов? Есть отменные хризантемы», — с той чуть не произошел обморок. От недалекого столика, к

примеру, подошел кавалер и спросил разрешения у Федоса потанцевать с дамой, — Аннушка решила: «Если позволит, развожусь». С другими мужчинами она все-таки танцевала, предваренная внушением Клавдии Павловны. После нескольких бокалов шампанского гражданка вошла в раж и начала дерзко осматривать посетителей... Около девяти часов и подошел тот мужчина.

Был перерыв в музыке, Лахины с Диканскими азартно звенели вилками, поглощая еду, когда раздался радостный и звучный возглас:

— Федос! Неуж ты?

Подле стола стоял приятный мужчина, лучезарно сияя улыбкой. Федос впился взглядом, затем расплылся лицом и, вскочив, сомкнулся обнимать человека. Однако только отпрянули друг от друга, по лицу его мелькнула тень.

Найдя свободный стул, мужчина уселся за стол, и, трогая друг друга за руки, начали издавать Федос с незнакомцем радостные междометия. Григорий Остапович вставил слово, и пришелец бодро отрекомендовался:

— Мы с Федосом друзьяки! Хлебнули на пару горюшка... Липин, Михаил Яковлевич.

Побежал разговор. Михаил Яковлевич служил заведующим дровяным складом в Ростове-на-Дону. Видно было, что это жизнерадостный, обаятельный человек. Выпили не раз за встречу и много сказали, когда Михаил Яковлевич начал пристально всматриваться в Аннушку, потом удивленно посмотрел на друга и воскликнул:

— Федос, да неужто!.. — Дальше захохотал довольный и, хлопнув Федоса по плечу, удовлетворенно крикнул: — Орел!

Странно и больно кольнул Анну этот взгляд, а больше — виновато опущенные глаза и разве не извиняющаяся улыбка Федоса.

Расставались чуть не со слезами. Михаил Яковлевич завтра днем уезжал в Анапу, однако поменялись адресами, и приятель яростно грозился приехать в гости. Аннушка улыбалась, но потеряла недавнюю восторженность.

Ночью женщине приснился нехороший сон, и она проснулась. В томном лунном свете увидела непривычно настороженный профиль Федоса. Он не спал. И почувствовала Анна, как проникает отвратительная вялость.

— Кто это был? — спросила тихо.

— Да так. В лагерях вместе отбывали, — буркнул Федос и отвернулся.

Сон убежал. Анна разглядывала тонкие тени, чуть вздрагивающие на сумеречном потолке, различала явственно наполняющую, непреодолимую тревогу. И неожиданно заплакала. Федос повернулся и начал осторожно тормозить, причитая: «Ну что... эка, ну что...»

Аннушка же молчала и плакала, глядя мимо мужа в потолок. Федос откинулся, молчал недолго, широко, как и Анна, пристально глядя вверх, и чужим, усталым голосом заговорил:

— Соврал. Не я тогда в баньку забрел. Вот — Мишка. А в лагерях мне рассказал. Смеялся, когда про твой столбняк вспоминал... Они заблудились, отряд догоняли. Трое их было. Вот в баню на огонек и забрели. Он даже и деревню не

упомнил... Только из бани выходя, под стрехой крест ножом зачем-то выцарапал... Я про тот случай сперва забыл, а когда молву про тебя услышал — ну, что попортил тебя некто и кiset оставил — вспомнил. Посмотрел — вправду крест нарисован. Вот и вымолвил... Не хотел, поверь. Нечаянно вышло.

Остальные четыре дня Анна жила в дурном, не отпускающем смятении. Снилось, будто входит в избу Михаил Яковлевич с кisetом в руке, говорит мягко и властно: «А вещичка-то моя. Значит, ты, парень, отваливай». Зудела досада, нелепая, смешная и неотступная на Федоса, что адрес другу оставил.

В поезд сели и тронулись, только здесь отпустило. Когда вошла в дом, пахнуло родным запахом жилища, вник в организм кровный рисунок стен — села Анна на кровать и подумала: «Врет Федос, сам он в бане был». Походив немного, насладившись важным скрипом половиц, поклонилась в угол и произнесла:

— Господи! За что ты мне долю такую счастливую в жизни определил.